

ГАБАЕВА Н.С.

О дедушке Георгии Федоровиче Коэнте

У Фредерика Коэнте и Эмили Баганц было трое детей – старшая дочь Мария (в замужестве Ляпьер), младшая – Жанна (1879-1942) в замужестве Стожарова, среднем по возрасту был сын Георгий (1871-1942) – отец моей мамы, мой дед.

Члены семьи Коэнте вплоть до революции сохраняли французское подданство. В связи с этим и наш прадед Фредерик Коэнте и наш дедушка Георгий Коэнте проходили военную службу во Франции. Отзвуки французского происхождения сохранялись в семье. По детству помню, что французская речь часто звучала в разговорах взрослых. Наше поколение, увы, этого уже не восприняло.

Дедушка, как и многие французы, был поклонником Наполеона. В доме было много изображений последнего: несколько небольших скульптур, фарфоровая кружка с портретом Наполеона в овале, декоративная тарелка с его изображением и др. До сих пор, например, сохранилась у меня винная пробка, которую венчает фигурка Наполеона в треуголке и характерной позе – с руками, скрещенными на груди.

Георгий Федорович Коэнте – наш дед – был женат на сестре своего товарища по Peterschule – Эмме Федоровне Витман, немке по национальности. Воспитывалась она в интернате благородных девиц принца Ольденбургского; принята туда по протекции – так как в этом институте давала уроки музыки ее тетя. Бабушку Эмму я помню плохо, она умерла от воспаления легких, когда мне было пять лет. В то время мы с мамой жили под Ашхабадом, где работал папа. Вернулись в уже опустевшую квартиру. Чувство, что что-то значительное исчезло тогда из нашей жизни, у меня сохранилось. Думаю, именно бабушка сумела создать тот строй жизни, тот уют, которые царили в нашей довоенной квартире на 7-ой красноармейской. По рассказам мамы знаю, что бабушка Эмма Федоровна была человеком живым, интересовалась литературой и общественной жизнью, в чем-то даже сочувствовала революционным начинаниям, в отличие от мужа и сына. В характере ее были твердость и властность.

Вероятно, мамины жизнестойкость и энергичность были унаследованы от бабушки. Мама была очень привязана к своей матери, по разным случаям часто упоминала о ней. Даже в последние минуты перед смертью непрерывно звала ее.

Из троих детей деда и бабушки старшей была Марсель (1898-1977) – моя мама, средним по возрасту Георгий (1900-1941) – отец Инны, Жоржик, как звали его в семье, младшей была Алис (1905-1930).

Дядя Жоржик во время гражданской войны воевал в белой армии. Факт этот странным образом и, слава Богу, прошел мимо внимания ГПУ. Дядя Жоржик был на фронте контужен, следствием чего стала его душевная болезнь. С фронта он вернулся с молоденькой женой – Лизочкой Скрыбиной, привез ее из Сарапула. Она была наполовину башкирской национальности, черты которой у нее, ее детей и отчасти у внука выразились в скуластости лица и легкой раскосости глаз. Тетю Лизочку я почти не помню, она умерла от болезни сердца в 1935 году, когда Ине было 10 лет. По рассказам мамы Лизочка была тихим, скромным, добрым человеком. Ее сразу полюбили в семье. Работала она «белошвейкой», как тогда говорили, на одной из Ленинградских фабрик, была искусной рукодельницей. Некоторые из ее вышивок сохранились. Ина унаследовала ее доброту и терпеливый характер, а также способность к рукоделию.

Болезнь дяди Жоржика со временем прогрессировала, случались приступы агрессии, от которых надо было беречь Инну. Пришлось отдать дядю Жоржа в стационарную психиатрическую больницу им. Кащенко в Гатчине. Дедушка стал Ининым опекуном. Он регулярно навещал сына в больнице, иногда на эти свидания брал Инну или нас обеих. Смутно помню одно из таких посещений – мы стоим на лестничной площадке перед плотно закрытой дверью, из-за которой вышел к нам дядя Жоржик. Запомнилось его доброе, радостно улыбающееся лицо, особенно – сияющие глаза, такие же большие и лучистые, как у моей мамы. Был он плохо побрит, одет во что-то казенное, коричневое. Мы гуляли вдоль огромного поля, собирали васильки.

Гатчина была взята немцами в начале войны.

Младшая сестра мамы – Лилечка (Алис), очень любимая в семье, умерла от дифтерита в ГД моего рождения (1970). Она была студенткой консерватории по классу рояля. Ее муж Георгий Александрович (Юра) Крюденер-Струве, милый, обаятельный человек был любим в нашей семье. Через несколько лет после смерти

Лилечки он был репрессирован по доносу своей второй жены (о чем она не стеснялась говорить). В справке о его реабилитации (1996 г.) сказано, что «...4 марта 1935 г. как социально опасный элемент Г. А. Крюденер-Струве приговорен к заключению в исправтрудлагере сроком на пять лет». Социальная опасность его заключалась в том, что он был религиозен и не скрывал этого. По окончании «срока» жил на поселении в Карагандинской области, затем в военные годы снова был репрессирован. С тех пор мы не имели от него писем; поиски его после войны были безуспешны. Скорее всего, к тому времени его уже не было в живых. Он не отличался крепким здоровьем.

С дедушкой Георгием Федоровичем Коэнте я рассталась в 9-летнем возрасте. С началом войны нас с Иной эвакуировали из города с интернатом детей художников. Позже к нам приехала мама. Папа и дедушка остались в Ленинграде. Как оказалось, эта разлука с ними оказалась разлукой навсегда.

В блокадную зиму, как и большинство служащих Эрмитажа, дедушка, а с ним и папа, жили в бомбоубежище Эрмитажа. Из письма военного времени Евгения Григорьевича Лисенкова¹ к Людмиле Ивановне Милорадович, я узнала, что в зимние блокадные вечера в бомбоубежище дедушка занимался французским языком с группой сотрудников Эрмитажа, в числе которых был и Евгений Григорьевич. Другое свидетельство о дедушке в блокадные дни осталось в повести «Ничего не могу забыть»² Ксении Грушевой – моей подруги по довоенной школе, с которой мы вместе учились в третьем классе. Вспоминая о блокадной зиме, она писала: «...мама еще раз обошла всех знакомых и в каждой семье говорила: «У меня умирают от голода дети. Возьмите кого-нибудь на день-два, подкормите...» Но каждый раз возвращалась ни с чем. И все-таки одну семью мама уговорила взять меня на несколько дней. Ровно в двенадцать она приводила меня к их дверям, звонила, а сама уходила. В последний раз она пришла вместе со мной. Я сидела в большой комнате за длинным столом, вокруг которого стояли многочисленные стулья, и медленно ела кашу. Мне хотелось, чтобы хозяева вышли и тогда мы поделили бы оставшуюся часть. Но взрослые стояли рядом, и я слышала, как мама их благодарит».

Это о нашем дедушке. После войны с благодарной памятью Ксения рассказывала мне об этом эпизоде.

Последние дни дедушки в нашей промерзшей блокадной квартире описаны в, к

¹ Е. Г. Лисенков – заведовал отделом западноевропейской гравюры, в котором работал дедушка.

² В сб. «Где-то гремит война» М. Молодая гвардия. 1984. Стр. 339.

счастью, не отосланном письме к маме дедушкиной сестры Жанны Федоровны Стожаровой (Коэнте). Письмо это несколько лет назад передала мне внучка тети Жани, моя троюродная сестра Кира Стожарова. Я пока храню его. Не знаю, достанет ли когда-нибудь душевных сил перечитать его. Умер дедушка от истощения в феврале 1942 года на 71 году жизни. Похоронен в одной из блокадных братских могил.

Дедушка был высоким, стройным, красивым человеком, с большими, как и у всех его детей, выразительными глазами, с доброй улыбкой. По манерам он отличался от следующего поколения нашей семьи – мамы и папы – обычно спешащих, напряженных, озабоченных. Спокойный, неторопливый в движениях, был он общителен, расположен к людям, а к нам детям очень ласков.

До революции он служил в одном из частных банков чиновником, а на моей памяти работал в Эрмитаже в отделе западноевропейской гравюры, где ценилось его хорошее знание языков.

Жили мы одной семьей, но у меня осталось ощущение, что дедушка был как-то особняком среди нас. Теперь понимаю, что жил он под грузом бед, обрушившихся на него за короткое время: революция, смерть жены, смерть младшей любимой дочери, душевная болезнь сына, смерть невестки... По словам его сестры – Жанны до всех этих несчастий дедушка был очень живым, остроумным, склонным к шутке человеком.

Никогда я не видела дедушку неглиже, всегда в белой рубашке с галстуком, в костюме с жилеткой. За столом во время наших трапез помню его с салфеткой на старый манер, одним углом заправленной за край жилета. Было у него несколько друзей, таких же подтянутых, аккуратных стариков дореволюционного склада. По воскресеньям дедушка иногда ходил в гости к коллеге по работе в Эрмитаже – Вере Евгеньевне, милой, интеллигентной даме. Над этими его визитами дома по-доброму слегка посмеивались. Иногда он брал меня с собой. Помню маленькую квартирку, тесно заставленную старинной мебелью, уютные кресла, большой абажур над круглым столом. Вера Евгеньевна пережила блокаду. Мы с мамой как-то навестили ее после войны.

От мамы знаю, что в молодости дедушка увлекался то коллекционированием картин, то выпиливанием и инкрустацией по дереву: помню причудливо резные рамочки его работы с семейными фотографиями. Дедушкой была собрана хорошая

библиотека русской и зарубежной классики. Книги хранились в большом заказном дубовом шкафу (как и сейчас), куда мне по возрасту доступ был закрыт. У меня была своя детская библиотека. Но, когда я болела, мне выдавали из этого шкафа толстые тома Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Шиллера, иллюстрированные гравюрами; я смотрела «картинки». Интриговали меня надписи на корешках книг одного из изданий в этом шкафу – Кнут Гамсун – я недоумевала – как писателя могли звать «кнудом». После войны к нам вернулась лишь часть этой библиотеки.

Изредка дедушка садился за рояль, я удивленно слушала. До войны мы с Иной брали уроки музыки, мне казалось, рояль существовал только для этого. На окнах в квартире было много цветов, ухаживал за ними дедушка. Когда мне незадолго до войны подарили снегиря, заботы о нем тоже легли на дедушку. Знаю, что с началом блокады он выпустил снегиря на волю. Случались периоды, когда у нас не было домработницы. В такое время по вечерам дедушка снимал пиджак, надевал фартук и мыл на кухне обеденную посуду.

По праздникам – В новый год, рождество, пасху утром заходил к нам дворник Федор в белом, чистом переднике по старинке поздравить «барина». Дедушка выносил ему в переднюю водки, расспрашивал о житье.

Никогда я не слышала, чтобы дедушка повышал голос, сердился. Вероятно, именно потому запомнился мне случай, когда после какой-то моей неблагоприятной выходки, то ли ссоры с Иной, то ли грубости в отношении мамы, он позвал меня в свою комнату и сказал: «Нехорошо так поступать, и помни, что Боженька все видит».

По вечерам, когда я была уже в постели, свет погашен, а дверь в столовую, где работал папа, закрыта, дедушка заходил ко мне в комнату проститься на ночь, поцеловать, наклоняясь над моей кроватью. При этом было традицией спрашивать друг друга – что бы каждый из нас хотел увидеть во сне. Спектр моих желаний был довольно узок и ограничивался обезьянкой, слоном или попугаем...

Думая о дедушке, стараюсь вспоминать о том, каким он остался в моей детской памяти предвоенных лет, о том, сколько тепла было в его отношении к нам, детям. Но очень трудно отгонять от себя мысли о его последних днях...